

Астафьев Виктор Петрович Слепой рыбак astafevvictor.ruъ
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Бригада работников горгаза, возглавляемая крупным, стойким к вину и холоду человеком, Кир Киричем, имела в своем распоряжении крытую мощную машину, которой и топи, и льды, и грязи были нипочем, потому что водил ее шофер такого класса, какой нигде, ни в каких бумагах не обозначен. Мог он ездить без дорог или по таким местам, где дороги были проложены еще при Петре Великом и с тех пор не ремонтировались. Шупленький, белесый волосом, сухотелый, голоса никогда не повышающий, шофер Гриша знал свое могущество и секрет владения техникой, тайно этим гордился, и, когда его связчики по артели одобрительно о нем отзывались, он вроде принимал их сдержанную похвалу равнодушно, даже с досадою, но ликовал в душе и гордился собою – это ему было нужно "для самостоятельности". Жена его, Галька, гладкая телом и умом, сумевшая совершить в жизни лишь один подвиг – родить дитя на пять с половиною кило весом – и от этого зазнавшаяся, мужа как человека презирала, но уважала как техника, все умеющего по дому и – к удивлению ее, почти потрясному, – почитаемого в трудовом коллективе, одержимом одной общей страстью – рыбалкой, в особенности зимней. Гриша рыбачить не любил, даже удочки своей не имел. Он, пока доблестная артель промышляла, занимался хозяйственными делами – оборудовал машину, и как оборудовал! Попавши первый раз в "салон" машины, я поразился удобствам ее: по оба борта кузова фанерой и жестью обитые сиденья с подъемными крышками, вовнутрь которых ставились шарманки, складывалась рыбачкая одежда, обувь, отдельно отгороженная ниша – для ледорубов и пешней, еще ниша – для кастрюль, тарелок, ложек, ниша, обитая кошмой, – для бутылок. Ящичек, куда-то и во что-то вделанный, – для специй и соли. В изголовье смонтирована газовая плита, баллончик упрятан под сиденьем. И есть еще откидные койки – хотя Гриша в тюрьме и не сидел, но опытом изготовления подъемного топчана у кого-то, скорей всего у газовиков из подвижных колони, разжился. Были шахматы, шашки, домино, несколько зачитанных книжек и журналов, все больше по технике, но когда опустился потолок машины и тут же был перевернут поджатыми ножками вниз и сделался столом – все посмотрели на меня со значением. Даже дядя Яша, пятый, а со мною шестой тут человек, вечный пенсионер и непобедимый рыбак, за талант рыбачкий пущенный в дружную семью газоремонтников, победно улыбаясь, спрашивал меня взглядом: "Каково?!" Пошатав стол, я сказал: "Да-а!" Поскольку преград на земле для газовиков не существовало, они рыбачить ездили на малолюдные водоемы и достигли таких глухих районов, что редкие жители, избывающие остатние годы, выходили глядеть на них, как на уполномоченных по выборам в Советы или же зубных врачей. Выбор газовиков пал на Вороновскую сплавную систему. В глуби утихших лесов и обезлюденных деревень кто-то невидимый, скорей всего вербованные, заготавливали древесину, но как ее отсюда вывезти – долго придумать не могли. Помощь пришла от мелиораторов: они по карте указали цепь вороновских озер, в которые весной обрушивалась проснувшаяся речка Вороновка и соединяла их в сплошной водоем на сто с лишним верст. Требовалось лишь кое-где сделать в завалах прорубы, свалить старые деревья, посеять кустарники, углубить перемычки и не дремать во время половодья. Летом вороновские озера округлялись, утихали, останавливались, цветли лилиями, сыто пупырились кувшинками, в них кишмя кишел малек, кормились с топляков плотвички, язята, ерш, обожравшийся по весне дармовой икрой, лез пьяно на кого и куда попало, клевал лениво, но безответственно на все, что ему совали под нос. В озерах из-за гнили вывелся гальян, елец, хариус, исчезли раки, но зато щуке и окуню был тут полный простор для хулиганских действий и разбоя. Газовики, пробивши путь к вороновским озерам, примолкли и долго своего удачливого места никому не выдавали, кроме дяди Яши, умевшего держать язык за зубами. Останавливались они на ночевку в селе с угрюмым названием – Мурыжиха. Стояло оно на холме с молчаливой многоглавой церковью посередине. В Мурыжихе еще жило несколько семей, но большей частью одиноких старушек, этих бессменных хранителей умолкшей русской деревни и заросших пашен. Остальные деревушки кругом были пусты, развалены, заросшие хламом, в глуби леса превращенные в лесозаготовительные "опорные пункты" и сплавные лесоучастки. Поближе к излучке, соединяющей два близких озера, стояла большая, черная от времени изба с завалившимися надворными постройками, с чердачным широким "фонarem", с выбитыми стеклами и качающейся на ветру створкой рамы, которая ночами хлопала от ветра, но не отваливалась, потому как была приколочена на долгие годы. Надворные постройки пилили на дрова, на месте их стеной стояли репьи-деды, чернобыльник, жабрей, крапива, в которой копошился застарелым шершавым листом давно уже одичавший и ягод не рожающий смородинник. Теснитый сплавщиками ивняк, волчатник, ольховник, черемушник да бузина отступали с берегов на когда-то родливые поля, огороды, забрались в сады и задушили их, тулились к изbam, окружали их и вбирали в себя. Половина Мурыжихи, если не

больше, была уже пленена вольным, сорным лесом, и лишь в центре села были натоптаны тропы, лаяли собаки и дрались кошки. Здесь еще жил и отворялся раз в неделю магазинишко, предусмотрительно переименованный на вывеске в хранилище товаров повседневного спроса и этим как бы вовсе отчуждившийся от людей. Но людям, особенно сельским, привычна была перемена вывесок, они от детей и внуков, наезжающих летами, знали, что где-где, а в русском селе от всякого рода переименований, от перестановки слагаемых сумма не меняется, точнее, меняется, да только в одну сторону – к убыли. Никаких товаров – ни повседневного, ни долговременного спроса – в новопоименованной торговой точке не было, остались от ранешнего магазина битые молью валенки, хомуты и узды для изведенных лошадей, железные детские салазки, хотя детей здесь давным-давно не водилось, железные доски, на которых отчеканены были голые девки с рыбьими хвостами, лупоглазые пластмассовые куклы, несколько кос, граблей и железных печек, которые никто не покупал. Некому было косить, копать, граблить – народ в приозерном краю, доживая век, постепенно забывал землю, ремесла, обряды, труд; снова, как при царе Горюхе, мылись в русских печах славяне, в огородах тыкали выродившуюся, малоурожайную картошку, чернеющую в середке, кое-где морковь и редьку, за капустой, луком и чесноком и за яблоками ездили осенью на сплавщиком тракторе в ближний городишко. Бабы забыли, как и что варить, разучились стряпать и ткать, шить и молиться, но все люто матерились, сплетничали и смекали "средствия" на выпивку, добывая копейку сдачей потребсоюзу клюквы, грибов и лекарственных трав, пуская "на фатеру" пьющих сплавщиков, летами – диких туристов и отпускников, под видом рыбалки браконьерствующих по пустым избам в поисках икон, прялок, половиков, керосиновых ламп, самоваров, братин и прочей старины. Веснами в Мурыжиху трактором, по крышу кабины залепленным грязью, в грязных мешках привозили серый хлеб, который, будучи горячим, рассыпался, вроде блокадного, а в охладевшем виде делался что бетон, облезлые, точенные мышами пряники, желтый и сырой сахар-песок, бочонок постного масла, ящика три-четыре болгарского перца, который никто из селян не покупал – не знали, едят ли его. Низкие, вспученные баночки "завтрака туриста" со сгнившей в них килькой, которым уже не раз тут люди травились, слипшиеся, мертвенно-голубенькие конфетки и сверх всего козырный, сладостный товар – бормотуха да фигурные кокетливые бутылки, чуть не до пробки налитые слезою детской, светленькой, с не по-русски написанной бумажкой: "Руссиян водка". Из лесов, из-за холмов, озер и болот поднимался, будто на древнее вече, подтягивался в Мурыжиху, разрозненно живущий по селам и деревенькам, люд, и, случалось, из какого-нибудь села никто не являлся на рынок трактора, значит, кончились земные сроки еще одного русского человека – выпил он чашу жизни до дна, и не нужны ему больше ни доступная по цене "бормотуха", ни дорогая, по праздникам потребляемая "светленькая" – ничего не нужно: ни милостей, ни пенсии, ни наград. Лежит без божьего надзора, в пустом селе, в полуслгнившей избенке на холодной печи, лежит бесчувственный, всем чужой, никому не нужный и будет лежать до тех пор, пока не порвут его на куски и не растащат по темным чердакам одичалые кошки, не доточат мыши, не придавят его останки подгнившей кровлей собственной избы – последнего прибежища, из родного дома превратившегося в могильную домовину. "Царство ему небесное!" – перекрестятся земляки его или ее возле магазина, да тут же и забудут о покойном, потому как есть дела поважней: магазинной очереди соблюдение, слушанье новостей, принесенных издалека, приближение к оглушающей память, отбивающей почки, печенки и селезенки "бормотухе" – Господь им судья, этим покинутым нами людям. У дома, на излуке захлестнутого цевошником и дурнолесьем, сохранились ворота, по тесаному столбу ворот, будто подвешенные, ржавели звездочки. Пять штук. Верхняя, большая – хозяин, голова дома, остальные четыре – поменьше, никто не вернулся с войны в этот дом, на это подворье – ни отец, ни сыновья. Хозяйка заколотила летнюю половину – тяжело отапливать. Но и зимняя половина, состоящая из кухни и "залы", была просторна – строилась изба на большую семью. Хозяйка была хоть и беззуба, да еще шустра, к газовикам приветлива. Поначалу она положила на каждого рыбака по двадцать копеек за ночевку, но когда Гриша починил крышу на избе, подладил пол в кухне и крыльце, бензопилой напластал дров на зиму, и не одну, – от платы скрепя сердце отказалась. Да и как не отказаться: уезжая, рыбаки одних пустых бутылок на сдачу сколько наставляют, и хлебушка, и соли, когда и баранок, и пряников, и "канцэрву", и сахарок, да и подадут "рюмоцью-другу" бесплатно, побеседуют, ободрят. Весело в дому с рыбаками. Дай им бог здоровья и клеву на уду. Я обратил внимание, что хозяйка никак не называет своего отчества, а рыбаки-газовики науськивают: "Спроси, спроси у нее отчество-то!" – и отчего-то посмеиваются. Хозяйка в ответ: "Да наплюю-ко я на отчество! Не больно и вельможа – навеличивать-то". Дядя Яша тихо сообщил: "Адольфовна она. По батюшке-то она Арефьевна, но вернувшийся из австрийского плена свойяк, в насмешку, не иначе, обозвал горластую девушку Адольфовной. И прилипло. Будто угадал, обормот, что

Астафьев Виктор Петрович Слепой рыбак astafev.victor.ruъ всю ее семью в этой войне Адольф Гитлер сожрет". О, русская земля! Где предел твоему величию и страданию!.. А над вороновскими озерами сияло весенное солнце. В хорошо промытом, бездонном небе по голубому чертили круги темные точки жаворонков. Скворечники в деревнях попадали, но скворцы все равно прилетели и щелкали, насвистывали, устраиваясь на жительство в дуплах старых деревьев, рычали в полях грачи, ломая ветви клювами и таская их в сопревшие гнезда, на ремонт; снег еще лежал по лесам и болотам, но на озерах и по Вороновке его съело, лед у берегов прососало, вот-вот должно было поднять и обсушить зимнюю твердь, но пока отовсюду катилась в озера и в речку вода, катилась ухарски-разбродно – тащило мусор, хвою, старые листья, ветви, обломанные ветром и тяжелым зимним снегом. Верхнюю, грязную воду гнало по промоинам, к рыбакским лункам, вращало в них волчками потоки, разъедало лед. С утра пророгшие, в полдень рыбаки поскидывали плащи, полушибки. Кир Кирыш разделся до пояса – загорал. Гриша, от нечего делать сколотивший два скворечника и залезший на ворота, чтобы приставить их к столбам, кричал издалека что-то веселое, ему махали руками, одобряя его действия, показывали рыбину – большую щуку, попавшуюся ночью на живца, показывали много раз и с разных мест. Гриша думал, что щучин наловили три мешка. Окунь брал снисходительно, только у берегов и только на мотыля да на желтеньку мормышку – наелся, стервец, важничал, собирая корм с травы и кореньев, зато сорога и ерш не давали опустить леску под лед. Дядя Яша как припал к лунке в излучине, так и не разгибался с утра, то и дело подсекая и шустро выбирая из лунки леску с добычей. Вокруг него серебристым венцом шевелилась на льду разнокалиберная рыбешка. Теплый ветер с полей, холмисто подступавших к озерам, раздувал уже зеленую дымку по седловинам, сушил склоны, торопил желтые, мутные ручьи, поддавая им полноты и ходу, взбодряя по берегам мясистую калужницу, проколупывал землю тугой щепоткой сизых всходов медуницы. По мокрым ольховникам белели тихие ветреницы, поверху желтел праздничными ворохами вербач, ивняк, и сыпали коричневой перхотью сережки осинников и ольх. Мир и весна царили над заснувшим вороновским краем, и весна пыталась отогреть, пробудить его от скучной спячки, населить скотами, птицами и всякой живой тварью, цветом, травой, семенем. Да не слышалось ответной радости, не ощущалось никакой весенней суеты и праздника, не орал из деревень петух, не мычали коровы, не маячил в пустом поле сонный, линяющий конь, и пахарь не мял в горсти подсыхающую землю, не нюхал новую травку, не брал на зуб семя, чтоб ощутить в нем тягу к земле, и сама родливая земля, обездороженная, пустая, теснимая со всех сторон кустами и бурьяном, сиротски ежилась под ветром, пускала по себе талые воды, дурные, шатучие, потом сохла морщинами, пылилась и трескалась, превращаясь в овраги и куда-то таинственно исчезая. В полдень, как стало совсем тепло и просторно, возле одинокой избы, стоявшей за озером, против Мурыжихи, единственной избы, уцелевшей от заречного хутора, появился человек, осторожно спускаясь по склону, по мокрой траве, подал руку дяде Яше, постоял возле него, поговорил о чем-то и, подставив щеку под ветер, мелкими шажками, бочком пошел по озеру, останавливаясь возле каждого рыбака и непременно протягивая ему руку. Так он дотянул и до меня, пощупал каблуком резинового сапога лунку, бросил в нее сверкнувшую на солнце блесенку и заподергивал удилище. Подергал, подергал и, глядя поверх моей головы, спросил: "Кто ты, новый человек на озере?" Я вдруг понял – догадался – рыбак слепой! Не мог ничего сказать от удивления. – Да вы рыбачьте, рыбачьте, – успокоил меня рыбак. – На меня внимания не обращайте. Я с войны слепой. Зовут меня Жорой. Ударило меня в голову осколком. В госпитале отлежался. Вроде ничего, маленько вижу. Домой вернулся, ожениться успел. Надо бы в город, врачам показаться, а тут работа. Колхоз еще на ногах был. Налогами задавили. И начало совсем зрене падать, от перенапряжения, ч? ли. И головойшибко маялся. Ну и ослеп совсем. Как ослеп, голове легче стало. А озера наши я помню с детства. Изныл от безделицы. Вышел как-то, на чужу удочку попробовал. Ничего. Ловко. Когда ерша, когда сорогу, когда окуня, чаще себя за рукав, либо за штаны изловлю. Одинова – за губу. Во, смотри – вырезали, – ткнул он пальцем в верхнюю губу, где крылатой птичкой краснел маленький шрам. – Клевало как раз хорошо, так я рыбаков попросил ножом вырезать, чтобы время не терять на больницу. Словоохотливый рыбак каждому свежему человеку рассказывал свою историю, привычным голосом, привычными словами, объяснял, что чаще всего ходит на озера, когда ветер – по ветру легче: подставит щеку и чует, как и куда идти, все ветра он знает по звуку, запаху, по силе и прочим приметам. Если восточный ветер, сырьо, хмарно, – зассыхай он здесь зовется, тогда рыба на вороновских озерах почти не клюет, разве что ерш; при северном ветре он резучий, часто студеный, нелюдимый, сиверко-то, – клева тогда тоже почти нету, оголодала щука, если ей на нос блесну кинешь, по-собачьи цапнет, с досады оторвет блесну и стоит, жует отечественный металл. Вот московский ветер, западный, да еще полуденный, южный – это уж благодать, это уж

Астафьев Виктор Петрович Слепой рыбак astafev.victor.ruъ добро, и рыба берет охотно, и солнышко, даже зимой, пригревает, и народишко, глядишь, откуда-нито занесет, а он, Жора, народ любит, и выходит не столько уж и порыбачить, сколь беседу повести, новости узнать, рыбакской счастью подразжиться – в Мурыжихе ничего не продают, ни крючков, ни лесок, да и рыбачить некому – все в магазине рыбачат. В тот же день пришла в Мурыжиху сплавщицкая лавка, установленная на тракторные сани. По озерному краю началось оживление – в лавке было вино под названием "волжское", водка под названием "особая" и "перцовка" – специально для промокших и стынивших людей. Газовики стали сбрасываться по трояку, хотя водка у них в доме и была, но Гриша строг – до окончания рыбалки, до вечера, то есть до ухи, ни граммуречки не выдаст, да и запас, как известно, "штанов не дерет и хлеба не просит". Положил в трудовую ладонь Кир Кирича зеленую трешку и я – куда денешься от коллектива, да еще от такого здорового? И Жора полез за пазуху, долго там шарил, бормотал: "Да где же он, рваный этот?.." Рыбаки предостерегающе подмигнули мне, готовому уж было покрыть долю инвалида своей трешкой. Наконец-то Жора выудил из-под старого, заштопанного бушлата рубль, мало уже похожий на современную деньгу – так был рублишко тот смят, потаскан, заеложен. "Вот, ребята, и на меня чеплашечку закажите, – протянул он его рыбакам и посоветовал „волжское“ не брать – крепости в нем мало, уж пусть лучше дорого, да мило, купить водки. Проймет! И веселей сердцу. И болести с нее никакой нету". Конечно же рыбаки Жорин рубль отвергли, и он стоял с протянутой рукой вслед посыльному: "Как же это? Я на чужо зариться не привык. Возьмите, ребята..." И ветер трепал действительно уж рваную и почернелую по углам рублевку, которая, как оказалось, уж много лет, звалась она среди рыбаков "неразмениной" и помогала Жоре "блести характер" и равенство в компании. Ах, какой это был славный, размягченный, но горем не униженный человек, так похожий на свою родную северную землю обликом и нравом. Мне приходилось видывать на рыбалке всякий народ, встречал даже безруких. Среди них более других запомнился майор Купоросов, бывший командир отдельного саперного батальона, привыкший повелевать и властвовать. Он не то чтобы гордо, скорее зло переносил свое несчастье, чуждаясь людей, отвергая их помощь и участие. Дома, среди своих, наверное, какую-то помощь и принимал, но на людях, особенно на рыбалке, свирепел и лаялся на всякого, кто проявлял участие. У него на одной руке были разъяты кости, будто палками, двигал майор ими, неровно заросшими голым мясом, подернутым красной кожицей, пучками и врозь чернущим волосием, постепенно густеющим и на здоровом теле звериной шерстью кроющим не только грудь, но плечи и спину. Раздвоенную культуру майор Купоросов держал за пазухой, под полушибуком – мерзли бедные кости, на левую была надета шерстяная нахлобучка. Если клевало, он выхватывал свою клешню, цапал ею удочку, поднимал, перехватывал леску зубами и пятился от лунки, вынимая на лед рыбешку. Потом клал на колено червяка – с мотылем и мормышками неправлялся – и долго цеплял его кончиком крючка или блесенки. Рыбачил майор Купоросов всегда на Святом озере, куда приезжал на инвалидной, громко трещащей и дымно стреляющей машине, и всегда рядом с удочкой опускал под лед блесну. Блесны у него были завидно уловисты, разных форм, из редких металлов. Пока Святое озеро не отправили удобрениями и стоками из свинокомплексов, здесь часто брали судак и щука, и так же часто упрямый, злой майор не мог совладать с крупной рыбиной, шибал ее об лед, таша волоком... И тогда сидел отставной майор на шарманке, неподвижно, уставившись в даль, поверх озера и людей, глазами, налитыми тяжелым страданием, лицо его каменело, на нем выпукло проступали кости, каждая по отдельности, и толстая седая щетина делалась заметней на серых щеках и под синими губами, изорванными леской. Но если майору Купоросову удавалось вывести крупную рыбину на лед, он громко и победно гакал, орал, глядел на народ и даже иногда предлагал выпить с ним в честь такой победы. Но никто не откликался на его приглашение, и он выпивал один. Все, кто знал майора Купоросова, думали, как, должно быть, тяжело приходится родным и близким этого человека, уязвленногоувечьем и собственной гордыней. Гриша установил скворечники, сколоченные из старого обрезного теса, на длинных жердях, и они гордо высились над крайней избой. На "блюдечках" скворечников немедленно затоптались, запоныривали в дырке две пары скворцов, и вскоре они уже дрались с теми, кому жилища не досталось. Люди, все еще толпившиеся возле сплавщицкой лавки, смотрели па скворечники, умильно слушали пересмешников, приговаривая: "Эко его! Эко его!.. Эко жених-то расходился! Эко невеста перья-то распустила! Хвостом-то, хвостом-то верьтит, ну чисто хомутовская Акулька перед солдатом! Помните, в сорок-то третьем годе, лес валить солдаты приезжали..." Гриша, спускаясь к озеру, все останавливался, оглядывался на скворечни и был собою доволен до невозможности. Ерши по озеру насорены были, точно шелуха от семечек. Вороны, по-мужицки расставив ноги, деловито разворачивали их головой на ход, заглатывали, дергая шеей и хвостом, и какое-то время не двигались, вслушивались в себя, приходили в чувство от грубой пищи. Гриша собирал ершей в корзину, и вороны, волной катясь от него по озеру,

Астафьев Виктор Петрович Слепой рыбак astafev.victor.ruъ
орали и ругались – ерши для них наловлены, и нечего обирать бедных пташек! Гриша отварил икряных ершей, выплеснул их в лоханку, в отваре наколдовал полное ведро ухи из полосатых, горбатых не только со спины, но и с пузу вороновских окуней. Запах варева донесло аж до озера! Газовики смотрели удочки, прихватили с собою Жору и подались праздновать пасху. Узнав от хозяйки, что с сего дни начинается нынешняя, ранняя пасха,уважительная трудовая бригада решила отметить этот святой праздник – бригада почитала и любила почитать праздники, как старые, так и новые. Иконы были покрыты чистыми рушниками. Под помещенной в центр иконостаса Матерью-Богородицей плодородия, хотя ничего здесь давно не сеяли и Богу негде было молиться, Богородицу все равно чтили, под раскрошившейся по углам доской иконы светилась лампада. Поскольку елейное масло давно в доме вывелоось, в лампаде чадно горело и трещало подсолнечное масло, привезенное сплавщиками в бочке. Среди круглой, широкой столешницы с обломанными зубцами резьбы в узорчатом деревенском блюде красовались нарядные, в отваре луковой шелухи крашеные мелкие яйца инкубаторских куриц, привезенные газовиками. В Мурыжихе кур не было, и овец не было, и коров. Зато кошек в каждом дому по полдюжины. Люди, уезжая, бросали дома и вместе с ними кошек. Те подыхать не хотели, летами промышляли в лесу, к зиме забирались к старухам в дома – и не выживешь их никакой силой! Рожали кошки по три раза в год, котят прятали в пустых домах и приводили на люди уже зрячих, игравших. Ну как вот их выкинешь и куда? Дружной, все более добреющей компанией разговелись газовики яичками, вспоминая кто про что и считая, что нарядней краски, чем от луковой шелухи, для пасхального яичка ничего нету и, главное дело, три окраски от нее: первая – яйца почти орехового, густого, древнего цвета. Второй цвет пожиже, и на яйце появляются круглые полоски, пятнышки на рильце и на донышке. Ну, а третий – совсем жидкий, вываренный уж – яйца желтенькие, как одуванчики, получаются – все одно хорошо, все одно красиво! Прежде чем стукнуть о столешницу, расколоть скорлупу и облупить яйцо, я подержал его в ладони – и в зажмуренных глазах увидел деревенскую уличку в мелкой травке, нарядных ребятишек, катающихся по ней крашеные яички. У кого расколется яйцо, тот и проиграл – тут умение нужно, сноровка, и куриц своих знать надо, из-под которой брать яйцо, у какой рано покраснел гребень после зимы – у той яйца крупнее, желток ярче, скорлупа крепче. Бабушка знала, из-под какой курицы давать мне яички. Везло мне в игре. Обчищу, бывало, ребятню: набью карманы яичками: коричневыми, розовыми, фиолетовыми, желтыми, голубыми, хожу гоголем, а кругом слезы и горе. Но праздник же! Весна, тепло, святой дух праздника, сама природа и душа пронизаны им, взывают к милосердию и состраданию, и, потиранив "жертвы", возвращают им расколотые яички. И вот уже радость, прыганье малышей от счастья, и размягчение души моей, сотворившей милостивое дело, и желание творить его еще и еще, делать себе и всем тоже только радость, полниться счастьем и ощущением доброты... Что с нами стало?! Кто и за что вверг нас в пучину зла и бед? Кто погасил свет добра в нашей душе? Кто задул лампаду нашего сознания, опрокинул его в темную, беспробудную яму, и мы шаримся в ней, ищем дно, опору и какой-то путеводный свет будущего. Зачем он нам, тот свет, ведущий в геенну огненную? Мы жили со светом в душе, добытым задолго до нас творцами подвига, зажженным для нас, чтоб мы не блуждали в потемках, не натыкались лицом на дерева в тайге и друг на дружку в миру, не выцарапывали один другому глаза, не ломали ближнему своему кости. Зачем это все похитили и ничего взамен не дали, породив безверье, всесветное во все безверье. Кому молиться? Кого просить, чтоб нас простили? Мы ведь умели и еще не разучились прощать, даже врагам нашим... Бригада подняла по чарке – под уху. Хозяйка принесла из "залы" маленькую старинную рюмочку отемнелого серебра. – Ишшо бабушки моей, царство ей небесное! Христос воскрес, мужики! – и те, кто еще помнил в застолье, как отвечать, разрозненно пропели: – Воистину воскрес! – и отчего-то по-детски засмущались. Почмокивая, хозяйка высосала вино из рюмочки и припала к чашке с ухой, повторяя: – Дай вам Бог здоровья, мужики! Дай вам Бог здоровья! Вот праздник-то сладили... и мне, старухе!.. Гриша, повязав хозяйкин фартук, разливал уху по чашкам и тарелкам. "Ну, как?" – спрашивал и, получив одобрение, сиял пуще Святого Спаса, который помешался рядом с Богородицей плодородия и вроде как поддерживал ее под ручку с тайной лаской, с намеком на вечное блаженство и спасение. Дошло дело до песен. Жора звонким, на морозе и ветрах сожженным голосом, вздувая жилы на горле, изо всех сил кричал: Эх, бей, винтовка, метко, ловко, Без пощады по врагу! Я тебе, моя винтовка, Вострой саблей подмогу-у-у-у-у...

Газовики, не зная старых боевых песен, охотно подхватывали: "У-у-у-у..." А вот Жора знал городские песни, выучил по радио и помогнул бригаде, когда она грянула: "К сожалению, день рождения только ра-а-аз в го-оду-у-у-у". Нахлебавшись солнца, воздуха, ухи, рыбаки скоро сморились, расположились кто куда – в "залу", на полати, на печь, на пол под божницу. Изба наполнилась боевым храпом. Помогая Грише убрать со стола, хозяйка трясла головой, смеясь: "Какие

Астафьев Виктор Петрович Слепой рыбак astafev.victor.ruъ тараканы были, дак в лес убегут, помельче – примерли..." Жора отчего-то домой не поспешал, и его не гнали. Он затяжелел, пытался рассказывать про войну. Я понял, что был он на войне очень мало, может, и вовсе не был, может, по пути на фронт разбомбили эшелон. Наслушался радио и плетет байки о войне Жора, какие охотно слушают и верят им ребятишки в детсадах, школьники младших классов и память утратившие пенсионеры. Я вызвался проводить Жору, на что хозяйка сказала: "да он и сам дойдет. Ему што день, што ночь..." На дворе мы остановились, послушали, как шевелил струпьями бурьян, обивая старое семя и колючки, как шумели в ночи весенние воды. Ночь была теплая. Густой от влаги воздух наполнил все вокруг горьковатой свежестью почек, пробуждающейся травы, выпирающих из-под травы кореньев. И тонким слоем, сладко, нежно струила медовый запах ива. Из лесов слабой волной накатывал холодок размытых, дотлевавших снегов, неся с собой дух липкой прели, наполняющий душу легким сожалением о проходящей жизни, о кратковечности ее и неизбежности обновления. В сенцах Жориного дома горел керосиновый фонарь, в самом же дому свету не было. Жора осторожно разулся и не вошел, а прокрался в избу, прижав палец к губам, чтобы и я держал себя тихо. Но как только приоткрылась дверь, на кровати воспрянула фигура в селом и заширила рукой в поисках спичек. – А-а, слепошарая пьяница! Алкоглотик пропашший, яви-и-илса-а! – чиркая, ломая спички, в рубахе китайского шелку, косолапая, широкоротая баба соскочила с кровати и зажгла лампу. Не подбирая слов, разряжала она свой, в потемках скопленный, гнев, яростно ходила кулаками возле Жориного лица. – Опеть за старое! Опеть? И коды ты здохнешь? Коды захлебнешься? Я тя подобрала... обмываю, обшиваю, кормлю, а ты... – Ну-ша! Ну-ша! – слепо хватая руки жены, лепетал Жора. – Не бей меня. Я больной. Я скоро помру. Успокойся... Я понимаю... Все понимаю. С товарищами, с городскими... Пасха седни... Ради святого праздника. Не губи себя, не рви мою душу. В инвалидку ушел бы, да далеко. Помру скоро. А рубель я не пропил. Вон он, вот. Товарищи сознательные, совецкие люди, не взяли ево... вот, товарищ скажет... – А-а, товарищ! Такой же алкоглютик! Такой же бродяга подзaborной!.. Я подсадил Жору на печку и вышел из избы под крики хозяйки, постепенно переходящие в причет: "да с кем же я связалася, окаянная! да погубила я свою жизнь! да какая же моя доля разнесчастная. Да подохнуть бы мне скоряя аль скрыться в лесу темном..." Говорила мне мама-покойница, упреждала..." Здешних баб я не любил. Низкозадые, ягодицы при ходьбе бьют по пяткам, бесцветные, плоские, малообщодные, они от рождения осатанели, бралились между собой, загрызали старионок и мужиков. На тысячу или две являлась вдруг миру беловолосая красавица с небесно-голубыми глазами, добрая нравом, родливая, как бы показывающая, что и эта забытая Богом и людьми земля может еще творить чудеса, только вот чего-то ей для этого недостает, может, и охоты нету – ведь плодить худое, злое проще и легче, тут ни ума, ни старания, ни любви не надо. Долго сидел я на крыльце избы, из которой глухим рокотом, будто раскаты далеко занимающейся грозы, доносило храп газовиков, слушал весеннюю ночь, внимал земле, наполненной тихим дыханием иальным, неумолчным гулом пробуждения. Ни о чем не думалось, ничего не хотелось. Душа доверчиво внимала этой вешней, ночной, неспокойной тишине, наполняющей душу светлыми надеждами, ожиданием перемен. Верилось, что всякий человек не может не взять такому, уже вековому, спокойствию земли этой, ее покорной, деловитой готовности любить, рожать, плодиться. Хотелось тоже покорно довериться всему, что свершается в ночи, в пространствах подзвездных, – услышишь, человек, уверенное шествие весны, присоединись к нему – нельзя далее поперек природы идти, нельзя себе вперерез, иначе запустеет все вокруг, зарастет бурьяном, и сам человек в себе выродится, запаршивеет, лишится силы и последнего разума. На утро притихли дальние леса, приглохли воды, легкое шуршание по прошлогодней, сухой дурнине, по тесу старой крыши дошло до меня – шепот в ивах и ольховниках возник, я ощутил нежное прикосновение к губам первого весеннего дождя, в котором ивовой цветочной пыли было больше, чем влаги. Я отодвинулся под козырек навеса, прижался спиной к треснутым бревнам старой избы и глубоко уснул под все густеющий шорох благодатного дождя, после которого где-то еще сеют пшеницу, ячмень, овес и промыто сияют зеленью озимые на полях. Травы и цветы, воспрянув от сна, идут споро в рост; сдобную, окропленную небесной благодатью землю пашут и боронят – весна набирает ходу, леса наполняются листом, гнезда птиц – яичками; в хлопотах и заботах, в работе не проходит – прямо-таки пролетает долгожданная весна. Ночью на озерах залило лед тонким слоем несомой из тайги, Вороновкой, снеговой воды. Перебирались рыбачить на плотике, оббивали пешнями рыхлые края ноздристых, истончивающихся льдин, вспухших серой пеной. Пришел на берег мятый со сна Жора. "Ну, как?" – спросили его. "да ничего, привычно", – махнул он рукой и... велел убираться со льдины, слышу, говорит, как покатила большую верхнюю воду в озера Вороновка, кабы беды не было. Вода и в самом деле задышала в лунках, запенилась; зашевелило мусор в проранах и в заберегах, вдруг надавленно выбурила из прорубей вода, будто из

Астафьев Виктор Петрович Слепой рыбак astafev.victor.ruъ
пожарных брандспойтов ударила, все закружились, зашумело, поплыло, переворачиваясь и ныряя, народ заахал, заулююкал, на ходу собирая рыбу и удочки, шало ринулся со льда. Двое газовиков черпнули сапогами в забереге и свалились на землю, задрали ноги, выливая холодную воду из обуви. С другого берега, все более отдалляемого стремительным разливом, на глазах шишащегося озера, лед на котором обмыло, очистило от мусора, подровняло, взмыли табуны уток. Снеговая стремительная вода все толще покрывала горбину льда. Осталось лишь мерцание погружающейся в небытие зимней брони, исчезающей под толщей бесшабашной воды. Мысли о новом вечном потопе, об исчезновении всего, что было еще живо в пашенном побережье, в запустелом краю, теснились в присмирелом сердце. Птицы, особенно вороны, галки и грачи, оравшие от возбуждения, добавляли смуты и беспокойства в сердце. Из заозерья, с устья распахнувшейся настежь в озеро Вороновки, нам все махала и махала шапкой, отдалаемая разливом, фигурка одинокого рыбака. При выезде из Мурыжихи, за окраиной села нашу машину оттеснило на обочину стадо молодого скота, голов в двести. Парни на лошадях с молодой, дикарской безжалостностью секли в кровь бессловесную скотину, как секли пленных иноземцев-русичей раскосые воины, налетевшие в уремье из пыльных степных земель. Телята и бычки, выросшие под крышей, к табуну и приволью непривычные, лезли в кусты, в грязь, прячась от кнутов, сбивались в кучу, всплывали друг на дружку, а бестолковую скотину лаяли, лупцевали, налетая конями на грязную кучу копошащегося, задохшегося, хрюпащего стада. Особенно свирепствовал старший, видать, среди пастухов, в клоунски вздутой на спине куртке, в нарядной вязаной шапочке с иностранным словом по красному полю. У него в ременный кнут была вделана маленькая гайка, и он уже выбил ею глаз беленькому, покорному теленку, от рогов до хвоста обляпанному грязью так, что из белого теленка превратился в пестрого. Парни остановились покурить и охотно пояснили, что гонят молодой скот на откорм, на заброшенные пастбища, пустующие луга, покосы, и, если первый опыт по откорму удастся и снизится стоимость килограмма мяса, тогда отремонтируют дороги, жилье, может, даже построят комплекс на тыщу голов, откроют постоянный магазин и даже клуб, пахать снова начнут, сеять рожь, овес, ячмень, чтоб не завозить корма скоту. Возле упавшей поскотины, как в старые добрые времена, скотину встретило все негустое население Мурыжихи. Наша хозяйка, Адольфовна, уже кормила телушку с выбитым глазом кусочком хлебца и ругала рогочущего перегонщика. "Самого бы в плетки, – говорила, – поглянулось ли бы?.." – А ты оближи, оближи телку, бабка, – науськивал старую женщину парнишка школьных лет с прыщавым лицом и жидкими волосами до плеч. На брюхе у него болталась сверкающая огнями машинка, мурлыка что-то иностранное. Обутая наскоро, на босую ногу, в огромные стоптанные сапоги, оставленные до зимы Кир Киричем, хозяйка наша одной рукой вытирала слезы умиления, другой обирала с телочки грязь и как бы высвечивала ее. – И оближу! И оближу! – кричала, дрожа голосом. – Чего скалишься? Не сидел в пустой-то избе, не слушал ветру в трубе, не оплакивал убиенных на войне... Длинноволосый намеревался высмеивать Адольфовну дальше, но подъехал старший, в фасонной шапочке, и замахнулся кнутом с гайкою: – Кончай! Эй, бабки, кто на хватеру пустит? – Эких-то бесов? Эких-то разбойников! – всплеснула руками Адольфовна и хотела топнуть, да только сронила сапог с ноги и, пока, прыгая на другой ноге, нашаривала его, узко, в кулак сведенными кривыми пальцами, траченными ревматизмом, другая старуха, высокая, скуластая, в мужицком треухе и с цигаркой в обкуренных пальцах, велела парням заворачивать к ней. Чувствуя, что постояльцев перехватывают на лету и прибыток, живой прибыток ускользает из рук, Адольфовна закричала: – К ей не ходите! Она курит! У ей изба холодна... А у меня – вон мужиков спросите... – А-ах, так вашу! – по-черному облаялся волосатик с транзистором. – Вам не подраться, нам не посмотреть! – Эй, ты, молокосос! – воззрился на него из открытой двери нашего "салона" Кир Кирич. – Еще раз обматеришься при людях, я выбью тебе зубы! Все! И сразу! – Какой выбива-ало наше-олся! – начал было волосатик. Но когда Кир Кирич всплыл в двери, загородил ее собою – понял, что конем такого не стоптать, хлестанул одного, другого телка, ткнул пальцем в брюхо, и из машинки на весь вороновский край завопило: "Пр-ра-а-асти, земла-а-а-а, пр-расти нафэ-эк, тебя об-бидел чел-лофэк..." – Во, бабка! – примирительно сказал волосатик, нагло тыкая себя как бы ненароком ниже пояса. – Машина времени поет, бабка. Нашего времени. Твое отпелося. – Это поет? Это поет? – ведя в обнимку телочку, все обирая ее, очищая от грязи, ощупывая голову с набухшими рожками и давним крестьянским опытом – по шишкам на голове, по губам и языку – определяя породистость, молочность и даже норов будущей коровки, перечила бабка. – Орет лихоматом, будто осенесь ево выложили... – Выложили?! Ха-ха-ха! Го-го-го! А ну, скотина, шевели ногами! Гоп! Гоп! А то магазин закроют. Па-аслед-ний пар-ря-ад наступаииит... Гуд бай, дяханы! – и врубил другую кнопку. Из-под нее еще диче заорал кто-то барабанным голосом, волосатик умело подтянул: – Гуд бай, герлс, бойс, грени энд антс! Тил нью

Астафьев Виктор Петрович Слепой рыбак astafev.victor.ruъ митинге энд парте! дин ачес! Партигс! – Это оне по-какому? – пугливым шепотом вопросила Адольфовна. – По-бусурманскому! По какому! А ты на других бочку не кати! Не кати!.. Адольфовна сделала вид, мол, никого не слышит и не видит, гладила телочку, наговаривала, может, и в самом деле никого не слыша и не видя. – Бил он тебя, ирод! Бил. Научили их на свою голову! Последние крошечки собирали... В городу он рос, в городу, и заместо сердца у его кирпич, где голове быть – чигунка... Я вот те! – погрозила она кулаком вблизи гарцующему всаднику. – Мы тоже, было время, не жалели ни че, не пасли, не берегли. Полюбуйся теперь на хозяйство наше. Все профоркали, просвистели да разбазарили... – Ак ч? теперь сделаешь? Назадь не поворотишь, – вздохнула курящая старуха, и вдруг с дребезгом, отчаянно завопила: – Да уж побегала ты с факелочком! – Выплонув цигарку в грязь, она еще громче и решительней продолжала: – Долой церкву, опиум народа! Давай клуб! Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживем! И остались вот на кочке жить. – Пр-р-расты-и-и, землла-а-а-а! – до уморы точно передразнивала Адольфовна транзистор, видать, была она когда-то большой артисткой в Мурыжихе. – Есь ли кому прощать-то, а? И ково прощать? Нас? Вас, окаянных? – воззвилась на перегонщиков. – У-у, бесы! У меня штоб при иконах не матюкаться, не курить в избе. Лампу долго не жечь – карасин завозной. Гриша нажал на стартер, машина сразу же сыто захрапела и резво взяла с места. Когда мы выскочили на холм и начали удаляться в размякшие обочь дороги, сорно лохматяющиеся поля, в открытую дверь "салона" увидели, что средь заполневшего озера, расталкивающего высокую воду вверх по оврагам, рытвинам, буеракам, логам, по всем углам и щелям, белой луною всплыла льдина, серебрясь под солнцем. Над нею, колеблясь, плясало солнечное марево и дробился яркий свет лучей о края льдины. Чайки реяли над озером в дремотном, сладком сне. И вдруг обозначилось что-то на льдине, заметалось и ухнуло, разбив лед на куски, словно в немом кино. "Лось! Лось!" – донесло крики. Кир Кирыч вынул из-под сиденья бинокль, подержал у глаз и мрачно уронил: – Теленок. Загнали, мошенники! Поворачивай, Григорей. Машина взревела, разворачиваясь в грязи. От Мурыжихи на берег озера бежали бабы с жердями и досками. Перегонщики оттесняли конями одичавшее стадо, готовое ринуться вслед за первым телком в воду, на лед. По ту сторону озера, от бывшего хутора, мужик, у которого ветром трепало рубаху, и баба, тоже в белом, катили по бревнышкам старую лодку к воде, чтоб помочь народу спасти скот и вообще узнать, что за движение открылось в заозерье, в Мурыжихе, откуда шум, многолюдствие, чем оживился умолкший было уголок покинутой земли. О, русская земля! Где предел твоему величию и страданию! 1984

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafev.victor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!